

# ВОЙНА БУДУЩЕГО

А. РИФЛИНГ



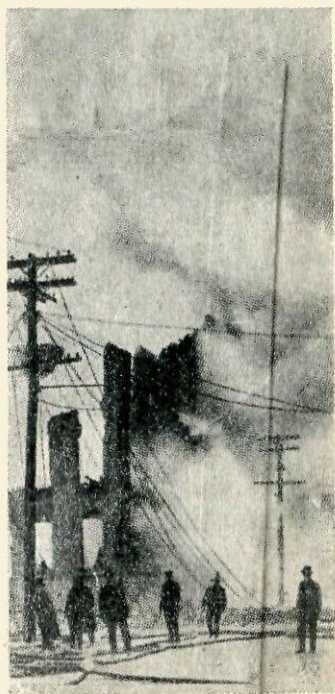
С НЕМЕЦКОГО

■ ■ ■

БИБЛИОТЕКА „ОГОНЬКА“

№ 2

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ОГОНЕК“  
МОСПОЛИГРАФА



АДОЛЬФ РИФЛИНГ

# ВОЙНА БУДУЩЕГО

ПЕРЕВОД С РУКОПИСИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ОГОНЕК“

Москва -- 1924



Москва. Главлит № 31.124

50.000 экз.

«Мосполиграф» 16-я типография, Трехврудный 9.

# ВОЙНА БУДУЩЕГО

## ОТ АВТОРА

Вопрос, на котором я желал бы остановиться, это вопрос о будущей войне. Я не знаю, удастся ли мне убедить вас, что это вопрос не теоретический, а практический, актуальный. Здесь, у нас, его трактуют именно, как теоретический вопрос. Как вопрос интересный, а не как вопрос насущный. Я думаю, это психологически оправдывается все еще не изжитой,—далеко еще не изжитой,—после-военной усталостью. И после-версальской усталостью. (Я не буду повторять здесь этот трюизм: версальский мир тяжелее для Европы во многих отношениях, чем даже война,—во всяком случае, последствия «мира» тяжелее, чем последствия войны). Европа психологически не может еще думать о будущей войне. Европа с т а р а е т с я н е д у м а т ь. Может быть, это хорошо. Потому, что если бы Европа думала... Впрочем, может быть, если бы Европа думала, она бы до чего-нибудь додумалась.. Из дальнейшего изложения вы увидите, что кое-кто думает—и даже очень напряженно. И очень плодотворно,—к несчастью. Я отмечаю только, что в массе своей люди Европы не думают—и не верят. В массе своей люди Европы ж и в у т. Жадно живут и боятся разными мыслями расстроить жизнь... Der Wunsch ist der Vater des Gedanken,—говорит немецкая пословица. Можно, перефразируя эту по-

словицу, сказать: страх порождает бездумье. Страх отпугивает мысль.

Может быть, вы, в России, решитесь взглянуть прямо в лицо этому вопросу. У вас, ведь, решимости гораздо больше, чем у нас. Это объясняется, вероятно, тем, что вы из с в о е й войны—войны-интервенции—вышли победителями. Кроме того, вы живее чем мы ощущаете надвигающуюся опасность,—потому, что у вас—Румыния, Польша. И у вас—самая сильная и самая лучшая (в смысле организации и дисциплины) армия в Европе. И вы моложе нас гораздо,—как государство. Моложе—значит: мужественнее... Поэтому я и пишу эти строки для в а с. Я задался целью: рассказать вам,—только р а с с к а з а т ь, ничего больше,—о будущей войне. Рассказать со всей возможной простотой, на какую я окажусь способен. А выводов я никаких не буду делать,—всецело предоставляю это вам.

Вопрос о в о з м о ж н о с т и новой мировой войны давно уже решен в положительном смысле и давно уже снят с очереди. Сейчас на очереди другой вопрос: о н е и з б е ж н о с т и новой мировой войны. И на этот вопрос тоже уже сейчас дается положительный ответ: да, новая мировая война неизбежна. Утвердительный ответ на второй вопрос (о неизбежности) вытекает с логической необходимостью из утвердительного ответа на первый вопрос (о возможности). Если война возможна, значит она неизбежна. Это положение, конечно, доказывать не приходится. Оно очевидно. Это—аксиома.

Вот вам интересная выдержка одной из многочисленных речей Ллойд-Джорджа:

«Европа—склад взрывчатых веществ, и много есть в Европе безумных людей, которые неизбежно разбрасывают повсюду горящие спички.»

Есть и такие «безумные люди» (к числу их относится и сам Ллойд-Джордж), которые разбрасывают не горящие спички, а горящие факелы,—разжигают костры. Скажем, хотя бы, к примеру,—Малая Антанта, Польша и Румыния,—разве это не горящий костер? А Балканы? Я пойду далее,—я скажу: а узенькие эти проливы между Францией и Англией—разве это не костер? Правда, еще не зажженный, но что стоит его зажечь?.. Дальнобойные пушки стоят уже на обоих берегах пролива,—и на французском берегу и на английском. Можно бомбардировать Париж, и можно бомбардировать Лондон. Конечно, пушки эти—немецкое изобретение.

Самый большой костер, конечно, Германия—и, в частности, Рур. Но есть еще костер—нефть.. И есть еще, не забудьте, колонии. Есть Китай—неразрешенный вопрос. Есть... да много есть. Всего и не перечесать.

Если вы не будете заставлять себя не думать, если вы будете просто и ясно, без всяких предвзятых мыслей, читать каждый день газеты, вы будете чувствовать явственно, как нарастает новая мировая война. . Я не могу еще сейчас сказать вам,—никто еще этого сказать не может,—как, где и когда она вспыхнет. В 1929-м году, или в 1932-м. На Балканах, в Малой Азии или на русско-польской границе ..

Новая мировая война не будет похожа—нисколько—на войну 1914—18 г.г. Это будет н о в а я война. Совершенно новая по своим формам, по приемам, по технике.

Техника войны имеет колоссальное значение,—подумайте хорошенько об этом.

Прежде всего, новая война будет отличаться от старой своей легкостью и грациозностью

Когда-то, более ста лет тому назад, в наполеоновскую

эпоху, была в войне легкость и грация,—были изящные кавалерийские атаки, было тонко отдуманное, филигранное маневрирование, были великолепные диспозиции, как сложные и путанные, но прекрасные математические задачи. Был изящнейший рационализм. Был виден ум полководца. Это была занимательнейшая шахматная игра, в которой случайно—совершенно случайно—гибли десятки тысяч людей.. Кроме всего этого, обратите еще внимание: война велась на лоне природы, большей частью летом, среди лесов, лугов, холмов, долин,—дзигорки, ручейки и мурава шелкова (кажется, я правильно процитировал вашего Крылова?),—пение птиц,—по ночам над полем брани—в непосредственном соседстве с полем брани,—щелкали соловьи. По ночам над полем брани мерцали мириады звезд—«и эта глупая луна»... (так, кажется?). А днем вся эта живописная, пестрая, многоцветная картина была облита солнцем. Сверкали на солнце начищенные кивера и палаши, казацьи пики, обнаженные шпаги. А мундиры! Ах, мундиры, приводившие в безумный восторг дам и просто женщин всех возрастов, всех рангов, всех сословий, начиная горничными и кончая маркизами. А лихость! А удаль! А героизм!..

*Адольф Риббинг.*



Война 1914—1918 г.г.—это была кошмарно-тяжелая, оумасшедше-тяжелая война. Какая была основная черта этой войны? Колоссальность. Колоссальность сверхчеловеческая. Массовость. Массовость сверхчеловеческая. Грузность. Многомиллионность. Земля не выдержала грузности этой, война продавала землю, вдавилась в землю. На девяносто процентов война велась под землей, в недрах земли... Атмосфера этой подземной войны—тяжелый, сверхчеловечески-тяжелый смрад. Ни неба, ни солнца, ни даже воздуха. А над траншеями — гигантские орудия, гигантские снаряды, гигантские танки,—все гигантское, все колоссальное.. Атмосфера этой войны—кошмар. . Вспомните грохот. Земля содрогалась от грохота. К такому кошмарному грохоту не привыкла наша земля. Вспомните: квинтиллионы, секстиллионы, акталлионы выстрелов, десятки миллионов человеческих рук и ног, миллиарды и триллионы пуль, осколков. Это была война тяжелой индустрии. На землю поставили такую машину, которую не выдержала земля. Машина оказалась слишком велика, слишком громоздка, слишком тяжела для земли. Машина, вследствие кошмарной тяжести своей, совсем почти не могла функционировать. Отсюда—тяжелая медленность этой войны. Война не шла—ползла. Со

скоростью двух—трех метров в сутки. Шаг вперед, два шага назад. Толчение на месте бесконечное... А фон войны? Тяжело-медленная серость, гнетущая, давящая унылость. Ведь не было людей—были многомиллионные массы,—серые, бесформенные массы пушечного мяса... Как велась война? Просто против колоссального количества гигантских орудий выставлялись миллионы людей,—как будто человеческие тела—самая надежная преграда для гигантских снарядов. Люди приносились в жертву машине. Тут была, несомненно, победа машины над человеком.. Вот вам, вкратце, история борьбы человека с машиной. Человек создал сначала очень несложную маленькую машиночку—и потом принялся совершенствовать ее. Машиночка стала машинкой, машинка—машиной, машина—махиной. Все развивалась, все развевалась, все совершенствовалась, все росла машина. И, наконец, выросла до того, что стала больше человека. Подавила машина человека. Человек увидел ничтожество свое, малость свою перед машиной. Это и была война 1914—1918 г.г.: машина мстила человеку... Разум человеческий создал машину, но совершенствовалась и росла машина уже не подчиняясь разуму, а подчиняясь только внутренней какой-то необходимости, непостижимой какой-то логике вещей. И наступил момент, когда машина очутилась вне контроля разума. Просто,—все дело тут в том, что разум человеческий идет только до определенных размеров, до определенных величин; что больше предельных этих величин, то вне его разума. И вот,—стихия машинная подавила человечество...

Именно этим и объясняется то весьма любопытное явление, которое мы наблюдаем сейчас: человек уничтожает машину. Высвобождается человек из-под машины... Сейчас—обратный путь. От тяжести сверхчеловеческой к легкости—

тоже сверхчеловеческой. От сумасшедше-тяжелой индустрии к самой легкой, наилегчайшей индустрии. От окталлионов к нулю—и дальше, к минус единице,—и еще дальше— к минус бесконечности. От земли к небесам. От «вдавления» к взлету. От глубин к высям. От «внедрения» к вознесению. Вот, вот,—именно: вознесение... Отныне мы будем парить над землей—и, из-за облачных высей—далее, простирая неведомые какие-то, невидимые эфирные нити-лучи, мы будем нежно, ласково, едва-едва касаться земли. «Перстами легкими, как сон».

Вы догадываетесь, конечно, что речь идет о газах, о химической войне.

Обратный путь от бесконечно-тяжелого к бесконечно-легкому начался, в сущности, еще в 1915-м, 16-м годах,—еще, следовательно, в самом начале мировой войны. Но до 1918 года, до Версаля, были только эксперименты. Война давала богатейший материал для экспериментирования: были миллионы людей, на которых можно было испытывать силу газов. Люди гибли,—да, с научной точки зрения, это все-таки была еще не настоящая газовая война, а только ряд экспериментов. Потому, что люди гибли не наверняка,—не было точного предварительного расчета: погибнет столько-то человек, погибнут они так-то, потому-то, при таких-то обстоятельствах, по таким-то причинам. Не было самого главного, что необходимо одинаково и науке и войне, и профессору и генералу: твердой уверенности в результате. Результат был проблематичен. Было то, что вы называете: «авось»...

Мне пришлось на прошлой неделе—в одной нейтральной стране, где немец может свободно, без всяких задних мыслей, без всякой подозрительности и без страха беседовать с французом,—мне пришлось—в одном отеле-пан-

споне в горах, где мощная весна веет бодростью, силой жизни, радостью жизни, где пьянеешь от солнца—в полдень, и от аромата цветов—в полночь, где нет ни книг, ни газет, ни этих мелочных дряг, которые глупые люди называют пре-выспренно политикой, ни вообще, каких бы то ни было скучных человеческих дел, а есть только сосновый лес, водопад, озеро, зеленый луг, снежные вершины, голубое небо, молодые девушки, которые доят коров, поют песни и любят по-весеннему мощно тех, кого они любят,—мне пришлось, говорю я, встретиться на прошлой неделе в Швейцарии, в горах с одним стареньким профессором французом. Это был до того глубокий старик, что он стал уже смешон от старости. Он уже из старика превратился в карикатуру на старика. Его лысина была яйцевидной формы и оливкового цвета. Борода белая, как снег на вершинах, клочковатая, как будто он густо намылил себе лицо, приготавливаясь бриться. Беззубый рот—смешная черная ямка, а нос... смешной такой, сморщенный носик стариковский,—очки непрестанно сползают все вниз, все вниз, с переносицы на самый кончик носика. Руки и ноги были у него какие-то узловатые, скрюченные и ревматизмом и подагрой. Но, несмотря ни на что, это—очень живой, болтливый и веселый человек. Больше всего в жизни любит он девушек, танцы, вино, хохот,—сам хохочет до упаду, часами, не отрываясь, следит за танцами на веранде,—неискусные, неискушенные дачные фокстроты и ту-степы. Милый старичок... Я сошелся с ним. Оказалось, что он—химик. Однажды вечером,—он выпил чуть-чуть больше, чем следовало,—он, весело смеясь, рассказывал мне (был очаровательный, благоуханный майский вечер,—в эти майские вечера так хочется жить) про будущую войну, про ужасы. Оказалось, что он, этот старичок, дни которого уже сочтены,—этот старичок—будущий должководец.

— Что—Фох и эти прославленные наши маршалы—  
мокслякнул он —Вот мы вам покажем. Это будет настоящая  
война с настоящими ужасами. Мы будем убивать по одному  
миллиону человек в час,—ха-ха-ха...

Хохот его заразителен, простодушно-наивный, как  
первый свежий хохот младенца. У него, конечно, очень  
доброе сердце. И, конечно, дома у себя, во Франции, где  
у него—огромная семья, он, приходя домой из лабораторий,  
играет с внучатами, рассказывает им сказки. А в кабинете  
у него, на письменном столе (он живет в старинном барском  
доме за городом,—дом окружен старым, заглохшим парком)  
расставлены айкуратненько пузырьки, пробирочки с удуш-  
ливыми газами—и вазочки с цветочками. Удушливые газы  
и цветочки, газы—цветочки, газы—цветочки...

---

Я вам перескажу своими словами все то, что расска-  
зывал мне этот старичок,—имя которого я, к сожалению,  
не могу вам открыть,—в свое время это имя прогремит на  
весь мир... Это почти—лекция по военной химии

Новая мировая война будет отличаться от старой миро-  
вой войны тем, что она будет происходить не на фронте,  
а в тылу. Это, если хотите, огромное п р е и м у щ е с т в о  
новой войны над старой. Потому что на фронтах, как из-  
вестно, всегда скопляются самые здоровые, крепкие, силь-  
ные, самые работоспособные, самые нужные для жизни  
люди. Тыл это с военной точки зрения хлам. Старики, жен-  
щины, дети, больные. Старая война убивала лучших, наиболее  
пригодных, наиболее нужных, новая война будет истреблять  
человеческий хлам... Как видите, тут уже есть некоторый  
такой проблеск гуманности. Дальше вы увидите, что здесь,  
вообще, гуманности очень много, хоть отбавляй...

Вы спросите: если война будет происходить в тылу, то зачем же фронт? Кому нужен фронт—и для чего?

Совершенно правильный, совершенно уместный вопрос. Но ответа на этот вопрос—р а з у м н о г о ответа—дать нельзя. Н е т разумного ответа. Единственный ответ, который можно дать,—далеко не разумный ответ,—это—консерватизм.

Человек есть животное консервативное. Ум человеческий, столь гибкий подчас в житейских мелочах,—и особенно в самых мелочных из этих мелочей—в политике,—становится твердокаменным, тупым и жестким, как скала, когда дело доходит до большого, серьезного, важного. И еще во сто-крат твердокаменнее, тупее и жестче, когда дело доходит до грандиозного, мирового. Поэтому—и только поэтому—никаких более разумных причин и целей здесь нет,—только потому, что мы, консерваторы, держимся целко за старое, не умеем приспособляться к новому, только поэтому государства Европы продолжают еще до сих пор строить армии, строить дредноуты и сверхдредноуты, строить дальнобойные орудия,—и тому подобную ненужную чушь. Армии, дредноуты, пушки уже не нужны. В новой мировой войне армии никакой роли не будут играть. На фронтах не будет ни одного выстрела. Армия ваша вернется с фронта в тыл (после того, как этот тыл будет совершенно уничтожен) ц е л а и н е в р е д и м а. Ни одного убитого и ни одного раненого,—ха-ха-ха... Гуманно? Ну, еще бы...

Тут, как вы видите, есть немножечко от христианства (фронт), и немножечко ницшеанства (тыл, уничтожение хлама). Эту фразу сказал старичок-профессор. Это—французская попытка уязвить немца, занимающегося немножко философией.

Новая мировая война будет войной профессоров против женщин, детей, стариков и старух, больных, калек... Про-

Профессор вытесняет генерала... Помните, Платон требовал, чтобы управление государством было поручено «мудрым». Сейчас мы этого почти добились—в области военной. Правда, «мудрых» у нас нет, но есть профессора химии...

Как будет происходить новая мировая война?

Вот как:

Будет весенняя ночь,—вот как сейчас. Из Парижа в Берлин вылетит воздушная эскадрилья. Несколько сот аэропланов. К утру эскадрилья вернется в Париж. А Берлина уже—к утру—не будет...

Берлина не будет... То-есть, Берлин будет, Берлин останется в полной неприкосновенности. Берлин останется—весь, целиком, как он есть. Дома, улицы, площади—и этот ваш знаменитый Tiergarten (великолепный парк, надо вам отдать справедливость) и эта ваша знаменитая (безвкусная, бездарная) Аллея Победы—и... вообще, все, все, что есть в Берлине, что есть Берлин,—все, все останется на своем месте. Потому что,—прошу вас заметить,—военная химия не разрушает, а только уничтожает... Опять,—прошу вас заметить,—гуманность: произведения человеческого гения останутся неприкосновенными... будут уничтожены только люди.—Ну, и животные, конечно,—и растения. Зелень (ваш Берлин утопает в зелени) станет серой,—совершенно серой, как камень. Ну, и люди—умрут. Все... я и говорю: уничтожение, но не разрушение.

Уничтожение Берлина будет продолжаться не более 3—4-х часов... Это, опять, одна из характернейших черт будущей войны. Краткость. Лаконичность. Быстрота. Прочная война продолжалась четыре года, будущая война будет продолжаться не более десяти дней. Потому, что в десять дней мы можем истребить пол-Европы. Ведь, вот посмотрите: если в течение 3—4-х часов можно уничтожить весь Берлин,

то сколько времени потребуется на Гамбург, на Франкфурт, на Лейпциг, на Дрезден, на Мюнхен? Смажем, неделю на всю Германию,—а потом 3—4 дня на союзников Германии.

Я из вежливости не спросил профессора, сколько часов, или дней, потребуется на Париж, на Нанси, на Лилль, на всю Францию—и на союзников Франции. Да это и не важно. Тут важно основное, важен принцип, а частности, детали ..

Итак, в течение 3—4-х часов мы уничтожим Берлин... Представьте себе: ночь. Большой город живет напряженной ночной жизнью. В большом городе ночью—затаенность, тревога. В большом городе ночью—клятвы и проклятья. За напертыми дверями в темных комнатах бушуют, вырвавшись на волю, свирепые человеческие страсти. В большом городе ночью—шопоты и шорохи, шопоты и шорохи. В большом городе ночью—стоны и вздохи, стоны и вздохи. В большом городе ночью—убивают, душат И любят. Корчатся в муках любви. А сколько поцелуев—в большом городе ночью... В большом городе ночью—плачут дети. В большом городе ночью—умирают старухи. В большом городе ночью—безумие и жуть. Бред... А сколько снов, сколько миллионов снов снятся миллионам спящих людей...

В большом городе ночью пьют вино, хохочут, танцуют, играют. В большом городе ночью—вожделение. Мимолетные объятия—за дверью, в темном коридоре... Таинственно сверкнули глаза .. А, может быть, где-нибудь в полуосвещенной каморке,—где-нибудь на окраине большого города в полуосвещенной, неприглядной, бедной каморке несколько человек—трезвые, разумные, молчаливые, суровые люди,—собираются перевернуть вверх дном весь мир...

Большой город ночью дышит тяжело, как человек, который спит и видит кошмарный сон. Он ворочается тяжело. Ему хочется кричать от ужаса, но он не может кричать,—



вместо крика иступленного—гяжелый, муцигельный, предсмертный хрип. Так хрилит иступленно большой город ночью

В большом городе ночью страшно весело, не правда ли? Вы подумайте только: сколько музыки—и сколько людей кушает бифштексы?..

Над большим городом летает аэроплан,—очень высоко над городом. В удобной, обитой кожей, уютной каютке—двое: пилот и химик. Доктор химии. Курят сигары. Благонные сигары. Доктор, позевывая, просматривает юмористический журнал,—«La Vie Parisienne»,—галантный журнал, пилот читает увлекательный роман. Доктор думает о своей юной жене, которая ждет его,—хороший, чистый человек, здоровый, всегда ночью, в тишине, думает о своей собственной жене... Тихо... Легкий предутренний ветерок Небо усеяно звездами... Тепло. Будет жаркий день. Ах, этот вной... Хорошо бы теперь с Нинеттой поехать куда-нибудь на море...

— Который час, пилот?

— Четыре, доктор,—почти четыре...

Когда встанет солнце, в большом городе будет зловещая неподвижность, зловещее молчание, и во всех домах, на улицах, на площадях, в парках, на кроватях (сколько в большом городе кроватей), на стульях, на тротуарах, на скамейках—всюду будут трупы. На улицах будут стоять трупы, прислонившись к стенам домов. В запертых комнатах будут лежать трупы на кроватях, обнявшись, крепко—так крепко, как крепка только смерть—сжав друг друга в объятиях,—так они и будут похоронены, никто никогда этих объятий не разожмет. Убийца умрет, убивая,—склоненный с ножом в руке над тем, кто должен был бы быть убит. Мгновенные объятия за дверью, в темном коридоре станут вечными.

Кошмарный сон, который привиделся спяще ту, тоже станет вечным. И умирающая старушка—она умрет внезапно, раньше чем придет смерть; она умрет, не успев умереть...

Знаете, что самое смешное во всем этом? То, что люди все умрут, а вещи человеческие—все эти триллионы разных вещей, вещей, вещичек, которыми обставлена жизнь человека на земле—вещи останутся. Будут вещи без людей. Будут перочинные ножики, пуговицы, письма, вывески над магазинами—вывески будут. «Магазин дамского белья Иоганна Шмидта». Будут детские коляски,—будут сотни тысяч осиротевших детских колясок и сотни тысяч осиротевших девчокиных кукол. Будут фонарные столбы. Дорожки парка будут усеяны трупиками птичек... Сторож умрет как раз в ту самую секунду, когда он, засыпая на своем посту, зевнет сладко—он умрет, зевая сладко...

Смерть будет очень тихая... Опять шаг вперед. Сверхчеловеческий грохот прошлой войны и абсолютная, немного торжественная, храмовая тишина новой войны... Смерть будет мгновенная. Смерть будет изящная... Тишина, мгновенность и изящество смерти—гуманность...

Бомбочки, начиненные ядовитыми газами,—небольшие, овальной формы, серебристого цвета, шелковистые такие бомбочки,—точь в точь такие, как в витринах кондитерских перед пасхой выставляются,—белые, шелковые, перевязанные розовыми шелковыми ленточками яйца-бонбоньерки. Если хотите, можно эти бомбы тоже перевязывать розовыми ленточками... Я думаю, что правильнее называть их не бомбами, а бонбоньерками... Они не взрываются, не лопаются,—они вскрываются. Они вскрываются изящно и нежно. Так как включенные в эти шелковисто-серебристые оболочки газы легче воздуха, то бонбоньерки не падают стремглав вниз, а носятся в воздухе, как птицы, и спускаются все ниже, ниже,

и земле,—бесшумно, крадучись,—они плывут по воздуху. Они раскрываются—и падают. Газ не имеет никакого цвета, никакого вкуса, никакого запаха. В нем нет абсолютно ничего неприятного. Абсолютно никакой вязкости. Он не лезет нахально в ноздри, в ваш рот, в ваши легкие. Нет. Вы вдыхаете его легко, свободно, естественно, без всякого—абсолютно—напряжения, точь в точь так же, как вы вдыхаете воздух... Вы умираете без агонии. Разве это не гуманно?

---

Но эта изящная картина, которую здесь перед вами нарисовал, есть картинка будущего. Ближайшего будущего. самого ближайшего будущего. К 1932-му году все это уже будет готово. К 1929-му году будет выполнено более 50 процентов задания. Сейчас, в настоящем, мы еще—на пороге... И тут я спешу оговориться: сейчас, в настоящем, нельзя еще сказать: армии и дредноуты уже обессыслены, уже более не нужны,—сейчас можно и надо сказать только: армии и дредноуты не могут уже играть той решающей роли, какую они играли в прошлой войне. Сейчас, в настоящем,—даже если война вспыхнет завтра,—решающую роль будет играть химия, газы.

Сейчас еще нет легких и приятных газов, о которых я только что имел честь вам докладывать. Впрочем, нет,—эти газы уже есть, но пока только в лабораториях,—еще не на складах военных ведомств. На складах военных ведомств сейчас, пока еще, в настоящем, хранятся (в колоссальных количествах) тяжелые газы,—в  $1\frac{1}{2}$  раза тяжелее воздуха,—падающие газы,—падающие на землю, отравляющие не столько атмосферу, воздух, сколько землю, почву. Это, в первую голову, газ и перит. Надо отметить

тут же, что этот газ был изобретен одновременно — в 1915-м или 16-м г., но знаю точно — и в Германии и во Франции. Тогда — в 1915-м или 16-м году, он играл еще подсобную второстепенную роль. Иперитом наполняли обыкновенные снаряды, обыкновенные бомбы, обыкновенные пулеметные пули, бомбы были приправлены иперитом. Иперит был приправой, — *like sugar in your coffee*, — по меткому выражению одного американца. Вам подают снаряд с иперитом, как подают кофе с сахаром.

Но если уже рассказывать историю предмета, то надо начать не с иперита, а с удушливого газа, предшествовавшего ипериту — хронологически. Удушливый газ это просто хлор — еще с чем-то. Насколько я понимаю, он может быть приготовлен в огромных количествах из простой поваренной соли. Удушливый газ — чрезвычайно простая, чрезвычайно несложная, примитивная, элементарная штука. Он имеет желтоватый цвет и стелется по земле, ползет, как туман, — это ползучий, пресмыкающийся, гадообразный газ. Газ-гад. Он причиняет смерть мучительную. Это не столько газ смерти, сколько газ пыток. Он сжимает дыхательное горло, — человеку становится все труднее и труднее дышать. Газ действует с мягкой и нежной постепенностью, — медленно-медленно. Сначала — легкий кашель, — так — кхе-кхе, — как будто щекочет в горле легонько, еле заметно. Это мимолетное ощущение не доходит даже до сознания человека. Потом это нарастает. Человек корчится в муках. От огромного напряжения расслабляются, рыхлеют мышцы, превращаются в тряпки, виснут, размягчается мозг. Лопаются кровеносные сосуды. Из всех пор тела проступает кровавый пот... Агония продолжается 36 часов.

Чтобы люди не успели принять меры против удушливого газа (надеть, хотя бы, противогазные маски, защитить

рот и нос), газовая атака соответствующим образом подготовляется. Перед тем, как пустить в противника (вспомните, что действие происходит в 1916-м году, когда еще война велась на фронте, а не в тылу), в траншее противника струю удушливого газа, пускается струя подготовительного газа. Подготовительный газ должен психически обессилить противника,—в этом его задача. Подготовительный газ—психический газ. Наша германская армия уже в 1916-м году располагала такими газами: газ смеха, газ слез и газ чихательный. Представьте себе: сотни тысяч солдат в траншеях начинают хохотать. Это страшно заразно. Это передается от человека к человеку, от роты к роте, от полка к полку, от корпуса к корпусу, от армии к армии. Целая армия хохочет. Людям становится вдруг страшно весело. Как будто они все опьянены,—слегка опьянены. Они начинают весело смеяться... Начинается это с легкой, еле заметной, невольной, не доходящей до сознания улыбки. Ну, улыбнулся человек—ничего больше. Еще человек рядом—тоже улыбнулся. И еще, и еще. Потом уже десять, двадцать человек, собравшись в кучку, смеются весело, громко, дружно,—открытый, такой бодрый, добродушный смех. Ха-ха-ха-ха-ха!— у Михеля растегнулась штрипка. Через час сумасшедший хохот, вырываясь неудержимо из сотен тысяч глоток, заглушает даже грохот орудий. На десятки миль кругом зловеще грохочет хохот. Мучительный хохот. Люди изнемогают от хохота, падают в изнеможении. Уже они сознают, что это не настоящее, что тут вмешательство чьей-то злой воли. Уже чувствуют люди жуть. Людям страшно. Люди чувствуют уже смерть, видят уже приближающуюся смерть,—но чем страшнее, тем все громче, все неудержимее хохот. Хохот—агония.

В этих психических газах,—в этом веселом психическом газе,—какая-то заложена сверхчеловеческая, дьявольская, жуткая ирония, насмешка над человеком. А какая простая и наивная формула у этого насмешливого, иронического дьявольского газа.

Газ слез распространяется м и г о м, в одно мгновение ока,—в этом его техническое преимущество перед газом смеха,—он заражает целую армию с р а з у, в одну сотую часть секунды. Он ударяет по глазам, как бичом,—и через полсекунды сотни тысяч людей режут, голосят, рыдают, и обильно льются слезы,—люди изнемогают от слез,—в ту как раз секунду, когда они в изнеможении падают на землю, их настигает настоящий газ, удушливый.

Так же действует и чихательный газ.

*Хохот, плач и чих могут продолжаться н е п р е р ы в н о* в течение более суток.

И п е р и т гораздо гуманнее удушливого газа и его «подготовительных» собратьев. Иперит самый гуманный из всех газов. Иперит не убивает. Иперит дает не более 1½ процента смертности. Иперит только калечит.... Вы должны понять, конечно, что когда мы говорим: 1½ проц. смертности,—то это значит 1½ проц. тут же на месте, сейчас же немедленно, — непосредственно, — смертность от п о с л е д с т в и й отравления иперитом—другое дело, в счет не входит. Вы сами понимаете, что если бы мы включили в счет и смертность от последствий, то не получили бы такой кругленькой, приятненькой цифирки: полтора. За эти 1½ процента с жадностью ухватились гаагские профессора, старички, нобелевские лауреаты, которые так любят гуманность— в процессе массового истребления человечества. Эти добрые старички, которым от души жаль истребляемое человечество, ухватились, как утопающий за соломинку,

за эту цифирьку:  $1\frac{1}{2}$  процента умирают, 97% искалечены, исковерканы, лишены работоспособности на всю жизнь. Что может быть гуманнее...

Иперит в  $1\frac{1}{2}$  раза тяжелее воздуха (роковая эта цифра— $1\frac{1}{2}$ ). Он падает на землю сверху вниз, дождем. Простая операция: сгущают газ в жидкость, бак с жидкостью (бак—10 тонн) приделывается к аэроплану снизу. Открывается кран бака. Аэроплан летит, иперит льется тонкой струйкой, поливает землю—леса, поля, дороги, города, селенья. Капельки иперита попадают в дома через дымовые трубы, через открытые окна, вентиляцию. Капельки попадают на шляпу, на одежду, на руки, на лицо людей, которые ходят ночью по улицам. Капельки попадают на крыши домов, на телеграфные столбы и провода. Кран, — с сеточкой конусообразной, струя широкая,—сест капельки густо. Аэроплан мчится со сказочной быстротой—небольшая французская эскадрилья может в течение одной ночи заразить всю Германию.

Вы встаете рано утром, выглядываете в окно,—да, думаете вы про себя, еще очень рано, еще—роса. Вы не понимаете, вы не знаете, что роса эта—иперит... И что это за странный запах? Как будто горчицей пахнет...Нет, это показалось. Вот уже и росы нет. Солнце светит ярко... Вы забыли уже про горчичный странный запах. Ну, конечно, это вам только показалось,—ерунда. И вы начинаете жить—как будто ничего не случилось. Вы не знаете, что вы уже убиты. Да, милостивый государь, вы уже убиты. Вы умрете через 3—4 месяца—и вас не включат в статистику,— для успокоения нервов гаагских, выживающих из ума старичков, вас не включат в статистику, чтобы вы не испортили цифирьки... Вы звоните по телефону Луизе, вы болтаете всякий веселый вадор, Луиза (она уже тоже убита) сегодня в пре-

красном настроении. Как ты спала, Луиза? Что тебе снилось? У меня в комнате много, много цветов,—сирень и ландыши. Я вчера вечером, поздно ночью (как раз когда летали над городом аэропланы, разбрызгивая иперит) играла Бетховена «Souvenir à Elise»... Что? Да! Итак, мы встретимся вечером, в 7 часов...

Но в семь часов вечера вы уже не встретитесь с Луизой. В семь часов вечера вы уже начнете умирать.

В семь часов вечера вы ослепнете. Это случится совершенно неожиданно, вдруг. Вы будете сидеть в своем кабинете в удобном мягком кожаном кресле и читать книгу. И вдруг посередине слова, посередине слога,—вдруг, мгновенно наступит тьма. Что за ерунда? Что случилось?.. Но проходит за мигом миг,—целая вечность,—целая прошла уже секунда—и все тьма. Вас охватывает панический страх и все нарастает, нарастает страх. Исступление, отчаяние, ужас. Но вы способны еще мыслить. Первая ваша мысль, острая, как сталь,—солнце погасло. Кончилась жизнь. Вселенная... А вторая мысль: нет, солнце не погасло,—это я ослеп.. Ваши глаза закрыты,—плотно, крепко, жестко закрыты, вы не можете их открыть. Вы напрягаете всю силу своей воли,—ну, что же это,—почему я не могу открыть глаза?.. Потом вы начинаете говорить (человек есть животное общественное). Говорить, звать, спрашивать...

Но это все ничего. Через 3—4 дня вы вновь прозреете. И знакомый доктор объяснит вам, что вы вовсе не ослепли,—это вовсе не была слепота, это было чисто психическое явление—светобоязнь. У него, у знакомого доктора, было то же в то же самое. Это было что-то странное,—у многих, почти у всех,—у всех людей в этом городе,—вдруг светобоязнь. И через 3—4 дня—у всех прошло. Прошла светобоязнь, но не прошел страх. Вдруг это повторится? Каждое мгновение опасно, каждый шаг опасен, каждое движение



одно. Страх парализует. Уже вы не можете больше работать, думать, кушать, спать, жить—вы в панике. Весь этот город в панике... Что-то случилось, что-то произошло кошмарное,—но что именно? Больше всего мучает вас неизвестность, незнание, непонимание. Вы чувствуете себя во власти роковых каких-то, сверхчеловеческих, потусторонних сил. Вы—игрушка в руках каких-то неведомых, невидимых гигантов. Вы знаете, как поступают с игрушкой? Выламывают ручки, ножки, протыкают булавочкой глазки... И вот, вся ваша жизнь — казалось — такая умная и значительная жизнь—вся ваша жизнь—сон, приснившийся какому-то богу или дьяволу. Или, может быть, это вам приснился сон, будто вы живете на земле?

Люди теряют чувство реальности—вот первое, самое важное психическое последствие иперита. Вместо чувства реальности—чувство кошмара. Эпидемия самоубийств—вот первое последствие иперита.

А потом начинаются заболевания. Заболевают все, без исключения,—один за другим, один за другим,—спасения нет. Человеческое тело покрывается белыми пятнами, струпиями — проказа. Потом между белыми струпиями появляются красные пузыри, волдыри, — красные, налитые кровью, величиной с человеческий кулак. Такие же струпья-волдыри появляются в н у т р и человеческого тела. В желудке. В кишках. На печени. На легких...

— Это излечимо?—спросил я.

— Не знаю,—ответил профессор.—Вопрос об излечимости или неизлечимости нас, химиков, не интересует.—И он засмеялся добрым, стариковским, мягким, шамкающим смехом.

Земля, орашенная иперитом, сохраняет в себе заразу в течение 3—4 месяцев. Окончательно «очищается» земля только через полгода

Но самое страшное в иперите—не то, что он поражает людей, а то, что он поражает человеческие вещи. От иперита ржавеют металлы, теряют свою уверенность и упругость, расслабляются. Вянет железо. Сталь становится вялой. Ткани все, какие только есть на теле—всасывают в себя иперит—из воздуха, —пропитываются насквозь иперитом, становятся очагом заразы. Первое, что должны сделать жители пораженной иперитом страны, это—сжечь все, какие только есть у них ткани. Сбросить с себя, сжечь все-одежды. Чтобы остался голый человек на голой земле. На голой земле, на которой не произрастает ничего, кроме яв и мора.. Иперит поражает хлеб человеческий Животные умирают. Камень размягчается. Вся эта наша культурно-цивилизированная жизнь — телефон, телеграф, железные дороги, промышленность—фабрики, заводы, шахты, копи—все, все уничтожено, разрушено, перестало существовать. Ведь, жизнь человека на земле—жизнь человека, как она есть сейчас—невозможна без металлов и тканей... Тут вы должны остановиться и вдуматься хорошенько... Жизнь без металлов и тканей — ведь, это значит возврат к каменному веку...

И вот представьте себе, если вы спросите профессора-химика, полководца, военначальника, истребителя, — как же спастись от иперита, как уйти, как уберечься, как остережться—и как бороться,—он ответит вам:

— Возврат к каменному веку—вот единственное.

Человечество погибнет от иперита, если оно не отречется от культуры и цивилизации. Назад к первобытности — Вот лозунг дня. Научиться жить по-звериному, разучиться жить по-человечески. В пещерах, в лесах, в дебрях... Но и этого мало. Слышите?—и этого мало. Надо пойти еще дальше назад, еще дальше, чем каменный век. В каменном веке

человек-полузверь жил на земле, а в иперитовом веке придется человеку-зверю жить под землей—потому, что земля—смерть. Из всех наших искусств—«искусств» ха-ха-ха.. — из всех наших искусств оставим себе, запомним только одно: рыть землю, рыть траншею, зарываться в землю, уйти под землю—только под землей—спасение... Если вы хотите, вы можете тут остановиться и развить целую философию: шло и шло человечество все вперед и вперед—от каменного века до века пара и электричества, до века банков и социал-демократии,—потом еще дальше, вперед—до века электронов и радия... Ведь, кончился уже век пара и электричества; пар и электричество уже устарели,—начинается уже век электронов и радия. Начинается век чудес... И век банков и социал-демократии тоже кончается, начинается век революции... Да, да,—все это так... И мы создали такую мощную человеческую науку и такое великое человеческое искусство,—мы, человечество Достоевский и Бетховен, Гёте и Эдиссон... И вот, уже скоро-скоро, объединится земля с Марсом,—мы расширим до беспредельности пределы жизни нашей земной. Мы вознесемся на выси надземные, и перед нами откроются дали надзвездные, и мы ощутим бесконечность... Но—вдруг... изобретен иперит ... Его изобрел—знаете, кто? Ну, какой-то там фармацевтик, какой-то человечешки маленький, никому не известный,—ведь, имя его никому не известно,—потому что изобретение, само по себе, ничего не стоящее, маленькое—ну, совсем, совсем малюсенькое, ничтожное изобретение—с чисто-научной точки зрения. Цианистый, углекислый газ,—скажите, пожалуйста;—простенькая, скучненькая формула. Углерод, азот, водород—самая обыкновенная, самая заурядная химическая ерунда переносит нас обратно из века электрона и радия в каменный век,—еще дальше назад—куда? Назад к обезья-

не? Нет, ещё дальше... Может быть, мы дойдем назад до амобы...

Вот, так вы можете себе философствовать, если вы хотите...

Но философствовать некогда. Философствовать уже больше не нужно. Довольно. Точка. Никогда уже никто не будет больше философствовать на этой земле. Потому, что на складах военных ведомств всех европейских стран хранятся уже десятки тысяч тонн иперита,—несколько больше того количества, которое необходимо, для истребления всего человечества. Нужно начать действовать. Уже. Сейчас. Сегодня. Немедленно. Сию минуту. Сию же минуту—давайте, перейдем в первобытное состояние. Давайте, прежде всего, зажжем большой костер,—слышите. Всемирный, вселенский, всечеловеческий костер. Сожжем культуру. Эй, тащите сюда Леонардо-да-Винчи, Репессанс, Толстого. Миллионы томов книг. Праксителя. Анатоля Франса. Дамские туфли на высоких каблуках. Благовония Востока, всю эту утонченность и изящество, которыми мы так гордимся. Скрипку Страдивариуса—сюда же. Школы—все школы, какие есть на земле. Университеты. Партию вольностей. Троны—какие еще остались троны. Все, все—сюда, на костер. Все сожжем, чтобы земной шар остался круглый, гладкий, голый шар. Только лопаты оставим. Ничего нам отныне больше не нужно. Только лопаты Зароюся в землю. Уйдем под землю... Если бы можно было еще на костер бросить солнце,—солнце нам тоже больше не нужно. Уйдем под землю. Простите, читатель, невольное лирическое отступление.

Практически: так как иперит имеется везде в огромных количествах, так как новая мировая война может вспыхнуть—никто не знает когда, так как в этой новой мировой войне (если она вспыхнет еще до окончательного усовершен-

ствования газа убивающего мгновенно) иперит будет играть доминирующую роль,—то ясно, что уже сейчас должны быть приняты меры предосторожности. Во всех населенных центрах должны быть приняты меры предосторожности. Во всех населенных центрах должны быть устроены подземные противогазовые убежища, в убежищах этих должны быть устроены склады продовольствия—на 6 месяцев, по крайней мере (вы помните, что 6 месяцев требуется на «очищение земли» от заразы); под каждым городом должен быть построен еще один подземный город. Под Берлином—подземный Берлин. И под Парижем тоже подземный Париж—да, да. И уже сейчас, немедленно, с сегодняшнего дня люди должны начать обучаться искусству подземной жизни. Ведь, это такое тяжелое искусство, — и если люди не научатся, не приучатся понемногу, если люди уйдут под землю сразу, без предварительной подготовки, они погибнут. Строить города подземные и учиться жить под землей—вот самая важная задача нашего сегодняшнего дня.

— — — — —

Может быть вас удивляет следующее, на первый взгляд столь простое, обстоятельство:

Люди изобретают смертоносные газы—иперит, удушливый газ—фосген; фосген совершенствуется, уже есть вторая стадия фосгена—люизит, а третья стадия—усовершенствованный люизит—третья стадия и есть тот легкий газ ближайшего будущего, про который я рассказывал выше... Люди изобретают смертоносные газы. Изобрел недалекий фармацевт—иперит, а венские ученые работают над фосгеном и люизитом. А нет ли—удивляетесь вы—такого недалекого фармацевта или такого великого ученого, который изобрел бы спасательный газ жизненный газ, противогазо-

ый газ? Ведь, это тоже, вероятно, очень легко и очень просто. Нет ли такого газа, который нейтрализовал бы смертоносные газы? Нет ли, одним словом, противоядия?

Нет—ни такого фармацевта нет, ни такого профессора нет, ни такого противоядия нет. Что же есть? Противогазовые маски Но эти противогазовые маски—ничто, нуль, меньше нуля—насмешка, по сравнению с газом... Оказывается,—мне сказал это старичок—француз-химик,—существует в химии противоядие гораздо слабее, во много тысяч раз слабее, чем соответствующий яд. Чем это объясняется? Почему это так? Старичок-профессор не мог мне объяснить, почему это так. Он сказал что-то такое,—что яд, видите ли, это—первичное изобретение, а противоядие—вторичное, что, когда вы изобретаете яд, вы совершенно свободны, ничем не связаны, ничем не ограничены, а когда вы изобретаете противоядие, вы связаны соответствующим ядом,—что, следовательно, с точки зрения науки, яд гораздо важнее—и гораздо интереснее,—чем противоядие.

Я не совсем его понял, и его объяснение ничего, в сущности, мне не объяснило. Я понял только одно—или, может быть, мне кажется, что я понял: научный гений человечества безгранично силен, могуч, когда он разрушает, и совершенно почти бессилён, когда он спасает от разрушения... Вы понимаете меня?.. Разрушать—или созидать,—но спасать от разрушения, противодействовать разрушению... Не знаю,—может быть, эта моя мысль объективно не верна, но мне так кажется. Во всяком случае, верен факт: противоядие всегда гораздо слабее яда. В области военной химии почти ничего «противоядного» не сделано. Лихорадочно работает научная мысль над ядами,—совершенствование ядов идет лихорадочно быстрым темпом вперед. От хлорного удушья этого газа через иверит и лимзит—дальше. к газу 1929 г.

и 1932-го года,—какой, с чисто-научной точки зрения, славный путь! А параллельно этому, на линии противоядий никакого движения. В 1924-м году все та же примитивная противогазовая маска, придуманная в 1916 году...

И вот сейчас, в 1924 году,—сегодня, 30-го мая 1924 года,—мы стоим перед необходимостью немедленно, завтра же, уйти под землю—иначе мы погибли.

Самая важная, самая основная характерная черта новой мировой войны, мне кажется, вот такая:

Наступление необычайно облегчено, оборона необычайно затруднена. Успех наступления всегда заранее обеспечен—неуспеха быть не может. Оборона же заранее обречена на неудачу. Самое большое, что может дать оборона, это спасение чего-нибудь, каких-то клочков, каких-то обрывков,—спасение главного, основного невозможно. Нападающий страшно силен, обороняющийся бессилён,—нападающий имеет в своих руках яд, обороняющийся—противоядие. Нападающий победит. Обороняющийся, если не будет убит, будет искалечен. Победенная страна будет опустошена. В конце-концов, победа ли победа? Что даст победа победителю? Что достанется победителю? Пустыня, усеянная трупами...

Мне хочется думать, что именно здесь, в этом пункте, может быть найден выход,—по крайней мере, логический выход. Если победа ничего реального не дает, если победа не нужна, то зачем же нужна война? Если обесмыслена победа, то, ведь, обесмыслена и война..

И далее. Военная химия идет вперед гигантскими шагами. Уже сейчас определенно говорят о возможности истребления Берлина в течение каких-нибудь 3—4 часов. В те-

чение 5—6 часов может быть истреблен Париж; в течение 6—7 часов—Лондон. И так далее. Но на этом—на этих скоростях—мы не останавливаемся, не намерены остановиться. Мы пойдем дальше.—Процесс разрушения будет убыстряться все больше и больше. Мы научимся истреблять человечество со скоростью 165-ти километров в час. Мы убыстрим процесс до того, что вместо часов уже будут минуты. Тут совершенно очевидно, совершенно явственно мы идем к абсурду... И здесь опять, мне кажется, намечается возможность какого-то выхода. Абсурд, бессмыслица—война обесмысливается... Тут, мне хочется думать, есть маленькое таинное отверстие, сквозь которое светит нам какой-то луч надежды. Война идет к абсурду, к бессмыслице, к невозможности?..

Впрочем, простите—я обещала не делать никаких выводов

Берлин—Вильмерсдорф

30 мая 1924 г.



ЦЕНА **15** коп.

ПОДПИСКА НА „БИБЛИОТЕКУ ОГОНЬКА“  
(еженедельно книжка):

1 месяц — 50 к., 3 месяца — 1 р. 50 к.,  
6 месяцев — 3 р., 1 год — 5 р.

АДРЕС:

Москва, Тверская, Благовещенский пер., д. 3, телеф. 4-80-08.  
Издательство „ОГОНЕК“.